



Алла Питова

Деревенские страшилки Береговки

*Ледянящие кровь
истории*

Алла ТИТОВА

Деревенские страшилки Береговки

«Автор»

2025

Титова А. Е.

Деревенские страшилки Береговки / А. Е. Титова — «Автор»,
2025

Откройте для себя мир, где древние легенды оживают, а граница между реальностью и мифом зыбка. Добро пожаловать в Береговку — деревню, затерянную на краю света, где у каждого камня и дерева есть дух, а сила старых богов до сих пор правит бал. Здесь живут по суровым законам предков, где любая ошибка может стоить жизни. Местные легенды — не сказки, а страшные и мрачные предостережения. Прислушайтесь к голосам из трясины, скрипу старых деревьев и шепоту ветра — они расскажут вам истории, от которых кровь стынет в жилах. Решитесь ли вы переступить порог этого мира? Помните: войти сюда просто. А вот выйти...

© Титова А. Е., 2025

© Автор, 2025

Содержание

Пролог	5
Домовой деда Матвея	6
Невеста Мороза	10
Полуночица Марьюша	15
Рубаха для Русалки	19
Прохорово Лихо	24
Алконост из Дедова Леса	28
Волколак	30
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Алла Титова

Деревенские страшилки Береговки

Пролог

У реки Ниточки, между Дедовым лесом и болотами, что шепчутся на языке забытых богов, приютилась деревня Береговка. Место это славно не пашнями тучными – земля здесь камениста, – а иной силой. Силой древней, уходящей корнями в ту пору, когда мир был моложе, а граница между явью и навью зыбкой, как туман над осенним болотом.

Здесь не к добру свистеть в избе, чтобы не выстудить душу, и не след ходить в глубь чащобы после заката, когда тени оживают и начинают своё шептание. Здесь знают, что у каждой травинки, у каждого камня есть свой дух, и с ними надо уживаться. Иной раз – задабривать.

Береговка живёт по своим законам, писанным не на бересте, а на самой плоти земли. Законы эти суровы и просты: выживает тот, кто чтит договор. Договор с лесом, с болотом, с теми, кто старше людей и чьи имена давно стёрлись из памяти, но чьё присутствие ощущается в каждом шелесте листвы, в каждом всплеске в чёрной воде. И цена этому договору порой высока. Очень высока.

Сколько зим прошло с тех пор, как первые поселенцы пришли на эти берега, не скажет никто. Их кости давно стали частью курганов на окраине, а их истории растворились в легендах, что передаются из уст в уста у огня, пока за окном воеет выюга. Легенды эти – не сказки для малых детей. Это предостережения! Напоминание о том, что тьма не просто приходит извне. Порой она рождается внутри, в самом сердце человеческом, в его страхах, жадности и отчаянии.

Прислушайтесь к тишине между строк этих сказаний. Услышите скрип старого дерева у околицы, вой ветра в печной трубе, далёкий зов из трясины. Это голоса самой Береговки. Они расскажут вам свои истории. Страшные, мрачные, но правдивые.

Ступайте же. Приоткройте эту дверь. Но помните: войти сюда просто. А вот выйти...

Домовой деда Матвея

В нашей родной деревне Береговке, что затерялась меж холмов и бескрайних полей, у каждого дома есть свой хозяин. Не тот, что паспортом прописан, а тот, что в тени за печкой живёт, в старом лапте, за ворохом сушёных трав на чердаке или в тёплой щели меж венцами – Домовой. И с ним у нас, береговских, особый, немой уговор, скреплённый поколениями: мы его уважаем, кормим молочком да хлебушком, по праздникам – ломтиком пирога, а он за порядком смотрит, от лиха оберегает, нащёптывает спящему хозяину, где потерялась пропавшая скотина, и тяжело вздыхает в ночи, предвещая беду.

Но есть на краю деревни, у самого чёрного омута на реке Ниточке, изба старая, под замшелой, просевшей крышей. Стоит она кривая, пустая и проклятая, с тех пор как увезли из неё в городскую больницу последних жителей – семью Гордеевых. Они бросили все пожитки: одежду в сундуках, даже мудрёную утварь. Бросили так, словно бежали от пожара. И теперь только ветер гуляет в щелях той избы, заунывно насвистывая свою вечную песню, да совы под коньком гнездятся, да крапива да лопух непролазной стеной выросли в порог.

История эта не вчерашняя, но её шёпотом передают из уст в уста старухи у подворотен, чтобы не повадилась молодёжь озорничать да правила забывать. Чтобы помнили: есть границы, через которые переступить нельзя.

А начиналось всё хорошо. Жил в той избе дед Матвей, мужик суровый, молчаливый, но справедливый, с руками, искорёженными многолетней работой, но добрым сердцем. И домовой, ему подстать – крепкий, хозяйственный, не проказливый шалун, а строгий хранитель очага.

Всё ладилось у Матвея: и скотина плодилась, не зная падежа, и урожай всегда был что надо, даже в самые голодные годы. Каждую ночь Дед аккуратно отламывал горбушку свежего хлеба, наливал в замысловатую, вырезанную им же деревянную миску парного молока и оставлял на чистом выскобленном столе со словами: «Хозяин-батюшка, на здоровье, побереги нас». И никогда не ругался в доме зря, не сквернословил, не устраивал свар. Тишина в его доме была особая – уютная, тёплая, живая, охраняемая.

Матвеев Домовой был не просто духом, невидимой прислугой. Он был самой душой избы, её теплом, запахом свежего хлеба и сушёных яблок, стуком топора во дворе и мудростью старых, смолистых брёвен. Он хранил не просто вещи, а сам порядок вещей, незыблемый уклад, где всему своё место и свой час. Он был плотью от плоти этого клочка земли, его древним сторожем.

Но всему свой срок! И пришла за дедом Матвеем косая. Перешла изба по наследству к его племяннику, Гордею, с женой Ариной да двумя малолетними ребятишками.

А Гордей – не из местных, городской. Считал, что в деревне его заживо хоронят, что жизнь здесь – это застой и болото. Он из города приехал не от хорошей жизни – дела там у него не заладились, долги обременили, а здесь хоть крыша над головой да огород был, своя картошка. И видел он в этих суевериях, в этой вере в домовых, леших и прочую нечисть корень всех деревенских бед: почему люди бедные, почему не стремятся к лучшей, «цивилизованной» жизни. Бороться с «мракобесием» он считал своим долгом, своей мелкой, но принципиальной войной за прогресс.

– Взрослые, бородатые мужики, а выдумали себе сказки, чтобы не так страшно было в темноте, – говаривал он соседям, которые с опаской косились на его новую обитель. – Никакого Домового нет, это сквозняк по углам свистит, мыши скребутся, а вы тени от луны пугаетесь!

Первое время Домовой терпел. Он ведь к дому привязан, а не к людям. Он – дух места! Старался по-старому, по-матвеевски: ночью скрипел половицами, будто настойчиво напоминающая о себе, прятал кисти, которыми жена Гордея, Арина, тихая, боязненная женщина, пыта-

лась рисовать унылые деревенские пейзажи. Ждал знака уважения, ждал продолжения древнего ритуала, но Гордей лишь ругался.

– Ишь, прогнило всё! Дохлая деревня! Скрипит! Надо полы перестелить, концов не найти, – кричал он и в сердцах швырял стоптанный лапоть в тёмный угол за печкой, где, по слухам, и обитал хозяин.

Арина, слыша его насмешки, лишь тихо крестилась и вздыхала:

– Гордей, голубчик, не гневи его. Не ругайся. Это не к добру.

– Тебя тоже этой дурью оболванили? – огрызнулся муж. – Хватит кормить эту тёмную деревенщину своим доверием! Мы люди современные! Мы сами себе хозяева!

И Арина отступала, прижимая к груди испуганно затихших детей, но по ночам, лёжа без сна и слушая, как в углу настойчиво и одиноко скрипит половица, она шептала в сырую, непроглядную темноту: «Не слушай ты его, хозяйнушко-батюшка. Он не со зла, он просто... из другого теста слеплён. Никого не слышит, кроме себя».

Как-то раз, поддавшись то ли отчаянию, то ли глухой надежде, Арина поставила-таки на ночь за печку ту самую, матвеевскую деревянную миску, наполненную тёплой молочной кашей.

– Хозяйнушко-домовой, отец родной, прими от нас угощение, не оставь нас, грешных, – прошептала она, зажигая перед иконой лампаду.

Утром мисочка была пуста, вылизана до блеска. Арина чуть не заплакала от облегчения – он принял! Значит, есть шанс, есть надежда на милость. Но Гордей, узнав, пришёл в настоящую ярость.

– Крысы у нас, видите ли, расплодились! А ты их ещё и кормишь, вместо того чтобы траву разложить! – заорал он и с силой швырнул ту самую, гладкую от времени миску через всё крыльцо во двор, где она с глухим стуком закатилась в густую траву.

– Ну, что ты заладил, Гордей! Бес в тебя вселился! Тебе ведь не мешает миска за печью! – впервые осмелилась возразить Арина.

Но упрямый, ослеплённый своей правдой Гордей был неумолим. Он не видел, не чувствовал того, что с каждым таким шагом он не просто наступает на суеверия, а рушит хрупкие невидимые стены, отделяющие его мир от мира древнего, дикого и страшного в своей справедливости.

Возмездие пришло в ту же ночь. И началось такое, что вся спящая деревня содрогнулась, а собаки завyli, жмурясь к будкам. Со стороны горницы послышался страшный, оглушительный грохот, будто все сундуки, лавки и посуда в буфете опрокинулись разом. Потом – тяжёлый, гулкий топот, словно табун диких лошадей носился по комнате, ломая всё на своём пути. Детей будить не пришлось – они проснулись от жуткого, пронизывающего до костей воя, который был ни волчьим, ни человеческим, а полным чистой, необузданной ярости.

Гордей, бледный от страха и бессильной злости, схватил тяжёлый топор и с пьяной от ужаса отвагой бросился в горницу.

– Выйди, нечисть! Покажись! Я тебе, покажу, где раки зимуют! – закричал он, широко размахивая дрожащей рукой.

Но в горнице было тихо, пусто и неестественно холодно. Лунный свет, лившийся из окна, выхватывал из мрака опрокинутый стол, разбросанную утварь. И стужа стояла леденящая, пронизывающая, хотя печь была истоплена ещё с вечера. И тут Гордей увидел Его. В самом углу, у печки, где всегда была густейшая тень, сидело нечто. Не человек, не зверь. Нечто корявое, лохматое, покрытое вековой пылью и паутиной. Оно не двигалось, лишь смотрело на Гордея парой горящих, как раскалённые угли, глаз. И этот взгляд был полон не злобы, не гнева, а бездонной, древней, вселенской ненависти. Взгляд, видевший века до него и века после.

Гордей окаменел. Топор с глухим стуком выпал из его ослабевших, ватных рук. Он не мог пошевелиться, не мог издать ни звука – гортань сжалась в ледяной, болезненный комок. Он

лишь чувствовал, как этот немой взгляд медленно, неумолимо высасывает из него всё тепло, все силы, всю жизнь и волю, оставляя лишь пустую, леденящую скорлупу.

С того дня Гордей переменялся раз и навсегда. Он больше не кричал, почти не говорил, на вопросы жены отводил пустой, ничего не выражающий взгляд. Сидел целыми днями на лавке подле окна и смотрел, не отрываясь, на омут, что чернел за окном. Хозяйство окончательно пришло в упадок, корова обезножила, курицы перевелись. В избе стало холодно, сыро и тоскливо, как в склепе. По ночам слышалось тяжёлое, мерное поскрипывание, будто кто-то невидимый и очень тяжёлый качался на скрипучих половицах, не давая уснуть. Детям начали сниться кошмары. Они жаловались матери на «лохматого деда», который сидит у их кровати, склонившись над самым лицом, и дышит на них ледяным, пахнущим сырой землёй дыханием.

Арина понимала – они не просто прогневили, они оскорбили хозяина, разорвали священный договор. Она пыталась говорить с ним, умолять, тайком ставила угощение – самое лучшее, что было: и мёд, и свежий каравай. Но домовый больше не принимал его. Еда оставалась нетронутой и к утру покрывалась странной, пушистой чёрной плесенью. Дух дома не просто обиделся – он возненавидел. Он больше не хранил, он стерёг эту избу, как сторож своего плена, выжидая час расплаты.

И час пришёл в самую короткую, но самую магическую ночь на Ивана Купалу. Вся деревня веселилась у высокого костра на залильном лугу, пела песни, прыгала через огонь, искала цветущий папоротник. А в избе Гордеевых было темно, тихо и холодно, будто в середине зимы. Вдруг из трубы повалил густой, чёрный, удушливый смрад, непохожий на дым, – пахло горелой шерстью, тлением и прелью. Из дома донёсся душераздирающий, полный последнего отчаяния женский крик Арины, потом – пронзительный детский плач, который резко, неестественно оборвался. А потом наступила тишина. Тишина оглушительная, могильная, давящая, от которой даже лягушки в чёрном омуте разом замолчали.

Соседи, обеспокоенные этим зловещим затишьем, толпой подошли к избе. Дверь была заперта наглухо, изнутри. Заглянув в запотевшее, грязное окно, они увидели жуткую картину. Вся семья сидела за столом, как на семейном портрете. Сидели неестественно прямо, неподвижно, уставившись в одну точку в самом тёмном углу горницы. Их лица были искажены немой, застывшим ужасом, а волосы – и у взрослых, и у детей – стали абсолютно седыми, как лунь, будто за одну ночь они прожили целую вечность.

С трудом выломав дверь, мужики вошли внутрь. От семьи Гордеевых, от стен, от каждой вещи повеяло могильным холодом склепа. Они были живы, дышали, но в их широко раскрытых глазах не осталось ни капли разума, ни памяти, ни осознания. Они не узнавали никого и ничего, просто смотрели в пустоту. Говорят, что на столе перед ними стояла та самая, выброшенная когда-то Гордеем деревянная миска деда Матвея. Она была наполнена до краёв влажной, холодной землёй, в которой копошились жирные черви и лежали мёртвые мухи. Угощение от Хозяина. Последнее угощение.

На следующий день семью, так и не вышедшую из беспамятства, отправили в больницу, а затем на попечение растерянной городской родни. Рассказывали, что они так и не оправились, не пришли в себя и умерли один за другим в течение года, будто их жизни были предрешены в ту самую ночь.

А изба так и стоит на отшибе, пустая и мрачная. Говорят, что её хозяин так разгневался, так ожесточился, что уже никогда не примет новых жильцов, никого не впустит в своё царство. Иногда по ночам там зажигается тусклый, мерцающий огонёк, будто от горящей лучины. Оттуда доносится мерный, утробный скрип половиц, будто кто-то невидимый, тяжёлый и неспешный, ходит из угла в угол, вечно осматривая и охраняя своё пространство. А если подойти к самому окну, поборов страх, и заглянуть внутрь, можно в кромешной темноте различить две горящие точки – два крошечных, как раскалённые угли, огонька. Это Он. Он смотрит на непрошеного гостя.

И если в этот миг ты почувствуешь, как по спине бежит ледяной, пронизывающий до костей холод, а волосы на затылке медленно встают дыбом – беги. Беги, не думая, не оглядываясь, задыхаясь от ужаса! Это значит, он уже заметил тебя. Уже оценил. И его угощение – та самая миска с могильной землёй – уже ждёт тебя на столе.

Невеста Мороза

В деревне Береговке зимы были не просто холодными. Они были злыми. Стужа приходила из-за реки, из чащи Дедова леса и ложилась на землю таким плотным, мертвым одеялом, что даже воробьи замерзали на лету и падали, как камушки. В такие ночи старики говорили, шурясь на заиндеветые волоковые окна:

– Мороз гуляет.

И это был не просто оборот речи. Это было предупреждение.

Молодая Алена, выданная год назад за дюжего кожевника Гаврилу, уже успела узнать тяжелую поступь зимы и тяжелую руку мужа. Гаврила был хорошим мастером, но скверным человеком. Деньги, вырученные за шкуры, чаще проливались на пол в кабаке, чем оседали в домашнем сундуке. А после кабака в избу приходила беда.

В ту ночь буря выла, как сто голодных волков. Ветер швырял в стены кулаки снега, стараясь выбить скрепленные лыком бревна. Алена, изможденная, пыталась укачать их первенца, сынишку Ванечку, который плакал от колик и от гнетущей атмосферы в избе. Гаврила, вернувшись поздно, сидел за столом, мрачный, как туча. От него пахло хмельным брагом и злобой.

– Опять этот волчонок ревет! – проворчал он, с силой ставя на стол деревянную кружку. – Совсем башку простудил!

– Он не виноват, Гаврила, животик болит, – тихо, почти шепотом, ответила Алена, покачивая люльку.

– Ты что, умничать? – мужик поднялся, и его тень, огромная и уродливая, поползла по стене, сливаясь с тенями от пляшущего пламени в печи. – Я на работе горблюсь, а тут ад крошечный! Ни поесть нормально, ни отдохнуть!

Он шагнул к люльке. Алена инстинктивно прикрыла ребенка собой.

– Отойди от него, Гаврила, прошу тебя.

– Прошу тебя, – передразнил он её, и голос его зазвенел опасной сталью. – Я в своем доме и делать то, что хочу, не могу? Может, это он меня выгонит отсюда?

Он схватил со стола полуштоф с недопитым брагом и с силой швырнул его в стену. Глиняный сосуд разбился с оглушительным треском, брызги пойла забрызгали пол. Ванечка зашелся в истерическом крике.

– Вот! На! Получай! – заревел Гаврила.

Он не думал. Он действовал в пьяном угаре. Одной рукой он отшвырнул Алену от люльки, другой распахнул тяжелую дубовую дверь. Ледяной ветер, полный игл колючего снега, ворвался в избу, задувая огонь в печи.

– Вон! Чтоб духу твоего тут не было! Остынь, стерва!

Алена, одетая лишь в легкую домотканую рубаху, не успела и пикнуть, как могучая длань мужа вытолкнула её за порог. Она кубарем скатилась с обледеневшего крыльца и утонула в сугробе. Дверь с грохотом захлопнулась. Щелкнул засов. Избушка превратилась в неприступную крепость, из которой её изгнали.

Первые секунды она не понимала, что произошло. Тело, разгоряченное страхом и борьбой, почти не чувствовало холода. Лишь жгучий снег на лице и в коленках. Потом ледяная хватка стужи впилась в неё тысячей зубчатых клыков. Она попыталась встать, но сугроб был глубоким, а ноги подкашивались. Из избы доносился приглушенный рев Гаврилы и разрывающий сердце плач Ванечки.

– Гаврила! Открой! Я замерзну! – закричала она, из последних сил барабанила кулаками в дверь. – Ради Богов! Ребенка одного оставил!

В ответ что-то тяжелое грохнулось о дверь изнутри. Плач ребенка резко оборвался. Воцарилась тишина. Страшная, леденящая душу тишина, куда хуже воя метели. Гаврила, видимо, просто вырубился.

Алена поняла, что умрет. Сейчас. Здесь. В нескольких шагах от своего дома, от своего ребенка. Эта мысль была настолько чудовищной, что подарила ей последний прилив сил. Она выбралась из сугроба и, обнимая себя за плечи, поплелась прочь. Нельзя было оставаться у двери. Холод заберет её тут же, как только она остановится.

Метель слепила глаза. Снег бил в лицо, как дробью. Деревня спала, укрытая белой пеленой, ни в одном окне не светился огонек. Она брела, не разбирая дороги, спотыкаясь о невидимые кочки, падая и снова поднимаясь. Рубаха промокла и обледенела, превратившись в панцирь, сковывающий движения. Дыхание стало коротким, болезненным. В легких обжигало ледяными иглами.

«Ванечка... – стучало в висках. – Мой мальчик... Он один... с ним...»

Она уже почти ничего не чувствовала. Ноги стали ватными, сознание заволакивалось белой пеленой, такой же холодной, как и всё вокруг. Она упала в очередной сугроб, понимая, что это конец. Слезы на глазах тут же замерзли, сковывая веки.

И тут метель внезапно стихла.

Совсем, как по взмаху невидимой руки. Ветер умолк, снегопад прекратился. Воцарилась такая тишина, что в ушах зазвенело. Алена, лежа в сугробе, смогла поднять голову.

Она была на опушке Дедова леса. Высокие, заснеженные ели стояли, как молчаливая стража, и в их ветвях переливался неземной, холодный свет. Лунный свет? Но луны не было видно, небо было затянуто плотной пеленой. Свет исходил откуда-то из самого леса.

И тогда она увидела Его.

Он стоял между деревьями, и Алена не могла понять, реальность это или предсмертный морок. Это был мужчина... или дух... или сама зима, принявшая человеческий облик. Высокий, статный, в длинной, сверкающей белой шубе, отороченной серебристым мехом. Его волосы были белыми, как первый снег, и струились по плечам, переливаясь лунным светом. Лицо... Лицо было прекрасным. Холодным, идеальным, высеченным из льда, с высокими скулами и губами, тонкими и изящными. Но глаза... Глаза были самыми живыми и самыми страшными во всем его облике. Они горели холодным синим пламенем, как самые глубинные льды океана, и в них плескалась вечность.

Он был невероятно красив и оттого еще более ужасен.

Алена замерла, не в силах пошевелиться, не в силах издать звук. Она должна была испугаться, закричать, поползти прочь, но она не могла. Его красота парализовала её, как взгляд змеи.

Он медленно двинулся к ней. Его шаги не оставляли следов на снегу. Он парил над сугробами, и от него исходило мягкое, морозное сияние.

– Кто... кто ты? – прошептала она, и её дыхание превратилось в ледяное облачко.

– Тот, кого зовут, когда холодно – его голос был похож на тихий перезвон ледяных кристаллов, на шелест замерзающего ветра. В нем не было ни тепла, ни сострадания, лишь спокойная, безмерная сила.

Он наклонился над ней. Его лицо было так близко, что она чувствовала исходящий от него холод, но он не был таким обжигающим, как мороз. Он был... освежающим, останавливающим кровь. Его пальцы, длинные и утонченные, коснулись её щеки. Прикосновение было ледяным, но оно не причиняло боли. Оно замораживало её, останавливало дрожь, превращало плоть в нечувствительный мрамор.

– Ты зябнешь, – произнес он, и его голубые губы растянулись в слабой, почти невидимой улыбке. – Позволь мне согреть тебя.

Это было безумие. Он говорил о тепле, но сам был воплощением стужи. И всё же Алена почувствовала странное, противоестественное облегчение. Боль уходила, страх уходил. Ужас перед смертью растворялся в его ледяном взгляде. Ей хотелось, чтобы он прикоснулся к ней еще, чтобы этот благословенный холод остановил всё: и боль в сердце, и память о плачущем сыне, и ненависть к мужу.

– Да, – прошептала она, и её голос уже был чужим. – Согрей.

Он наклонился еще ниже. Его прекрасное, ледяное лицо оказалось в сантиметре от её губ. Он поцеловал её.

Это не был поцелуй смерти. Это было нечто иное, как всепоглощающее объятие зимы. Холод хлынул в неё через губы, заполняя рот, горло, легкие, проникая в каждую клеточку тела. Он не забирал жизнь. Он замораживал её, останавливал на самом пике страдания. Вместе с холодом в неё вливалась странная, чужая сила. Сила льда, сила тишины, сила безразличия.

Она закрыла глаза, поддаваясь этому поцелую, этому ледяному забвению.

Когда она их открыла, Его уже не было. Метель снова бушевала, но теперь она не причиняла Алене ни малейшего вреда. Она лежала в сугробе, но не чувствовала холода. Вообще ничего не чувствовала. Ни страха, ни горя, ни любви. Лишь спокойную, холодную ясность в голове и невероятную, стальную силу в теле.

Она поднялась. Движения были плавными, уверенными. Она посмотрела на свои руки. Кожа была бледной, почти прозрачной, как фарфор, но полной силы. Она сжала кулак, и ей показалось, что даже воздух вокруг него застыл.

Она знала, что должна делать.

Алена пошла назад, к деревне. Метель расступалась перед ней, ветер стихал у её ног. Она шла по снегу, не проваливаясь, не оставляя следов. В груди не стучало сердце, изо рта не вырывалось парное дыхание.

Она подошла к своей избе. Дверь, запертая на засов, не стала для неё преградой. Она прикоснулась к дереву ладонью, и иней мгновенно покрыл дубовую доску, а железная скоба с треском лопнула от внутреннего напряжения. Дверь отворилась сама собой.

Внутри было холодно, огонь в печи погас. В углу, на полатах, храпел Гаврила, свалившись в пьяном забытии. В люльке, завернутый в пеленки, плакал Ванечка. Его крик был слабым, прерывистым – он замерзал.

Вид ребенка не вызвал в Алене никакого отклика. Ни материнской нежности, ни паники. Лишь холодное, стороннее наблюдение. Плач был просто... звуком. Неприятным шумом, нарушающим тишину.

Гаврила что-то пробормотал во сне, повернулся на другой бок. Его лицо, обезображенное хмелем и злобой, теперь казалось ей просто куском мяса. Безобразным и ненужным.

Она подошла к люльке и наклонилась над своим сыном. Младенец, почувствовав приближение холода, замолк, его широко раскрытые глаза смотрели на мать с немым вопросом и страхом.

Алена протянула руку и коснулась его щечки. Нежное, розовое личико моментально побелело, покрылось инеем. Плач прекратился. Навсегда. Воцарилась наконец та самая тишина, которую так желал Гаврила.

Холод разбудил его. Он с трудом открыл глаза, помутневшие от хмеля.

– Ты?... – прохрипел он, с трудом узнавая жену. – Как... ты вошла?... Заткни этого волчонка, а то я тебе...

Он не договорил. Его взгляд упал на люльку. На неподвижного, покрытого инеем младенца. Пьяный туман мгновенно рассеялся, уступив место ледящему ужасу.

– Что... что ты наделала?..

Алена повернулась к нему. Её глаза, всегда такие кроткие и печальные, теперь горели тем самым холодным синим пламенем, что и у духа в лесу. В них не было ни ненависти, ни мести. Лишь пустота. Бездонная, ледяная пустота.

– Ты хотел тишины, Гаврила, – сказала она, и её голос звенел, как тысячи крошечных ледяных колокольчиков. – Теперь она будет вечной.

Гаврила с ревом бросился на неё. Он был большим, сильным мужчиной, привыкшим к насилию. Его кулак, способный забить быка, со всей силы обрушился на лицо жены.

Удар пришелся в щеку, но вместо хруста кости раздался звук, словно ударили по глыбе льда. Алена даже не пошатнулась. На её коже не осталось и следа. Лишь тонкий узор инея расползся от места удара, как паутинка.

Гаврила отшатнулся, сжав свою руку. Пальцы были обморожены до кости, кожа покрылась волдырями.

– Ведьма! – завопил он. – Мерзкая ведьма!

Он рванулся к печи, схватил кочергу, раскаленную с одного конца, и снова бросился на Алену.

Она не стала уворачиваться, она просто выдохнула.

Струя ледящего воздуха, холоднее самой лютой стужи, вырвалась из её губ и ударила в Гаврилу. Кочерга в его руке покрылась инеем и треснула. Мороз пробежал по его телу, скользя движения, покрывая его бороду и одежду толстым слоем изморози. Он застыл на месте, как статуя, глаза закатились от нечеловеческого ужаса и боли.

Алена подошла к нему вплотную. Она посмотрела в его замерзающие глаза и, почти ласково, прикоснулась пальцами к его груди.

Ледяное сердце Гаврилы остановилось.

Тишина.

В избе воцарилась абсолютная, совершенная тишина. Ни храпа, ни плача, ни треска дров в печи. Даже ветер снаружи затих, словно затаив дыхание.

Алена обошла свою избу. Её взгляд падал на предметы. На разбитый кувшин, на опрокинутую лавку. Всё это было частью прошлой жизни. Жизни, которая больше не имела значения.

Она вышла на улицу. Метель окончательно утихла. Береговка лежала под толстым одеялом снега, безмолвная и прекрасная в своем зимнем уборе.

Алена прошла по середине улицы. Снег скрипел у её ног, но на её босые ступни он не действовал. Избы по обеим сторонам казались вымершими.

Вдруг в одной из них, у самого края деревни, запахнулось волоковое окно. Высунулось испуганное лицо старухи Маремьяны. Её старые глаза увидели Алену, идущую по деревне, увидели её ледяное сияние, её пустые голубые глаза.

– Ледащая!.. – прошептала старуха с ужасом, её дыхание тоже превратилось в ледяное облачко. – Морозова невеста! Спасите нас, Боги...

Она резко захлопнула окно.

Алена услышала её и поняла. Ледащая – так называли злых духов зимы, приносящих лютый холод. Невеста Мороза.

Она остановилась и посмотрела на темный силуэт избы старухи. Потом подняла руку и легким движением указала на неё пальцем.

Ничего не произошло. Ни грома, ни молнии.

Но через несколько мгновений из щелей избы Маремьяны повалил густой, белый пар. Не теплый, а ледяной. Иней густым слоем покрыл бревна сруба, затянул окно причудливыми морозными узорами. Крик изнутри быстро затих, подавленный всепоглощающей, безмолвной стужей.

Алена опустила руку. Теперь её власть была полной.

Она повернулась и пошла прочь из деревни, к опушке Дедова леса. Её невесть откуда взявшийся жених ждал её там. Её царство начиналось здесь. Царство тишины и льда.

А в Береговке наступила странная зима. Она долго не кончалась. Снег не таял, морозы не отступали. Люди боялись выходить из изб, боялись шуметь, боялись даже громко плакать. Потому что по ночам по деревне иногда проходила Тень. Высокая, прекрасная и безжалостная, в сопровождении могучего духа в сверкающей шубе. Они шли, держась за руки, и их появление несло с собой такую стужу, что замерзало вино в кружках, а спящие на печках дети просыпались с инеем на ресницах.

И все в деревне знали: это Алена. Ледащая. Невеста Мороза. И она никуда не уйдет.

Полуночица Марьюша

В деревне Береговке, что притулилась меж болот и дремучего Дедова леса, ночь была не временем покоя, а временем отсчета. Отсчета до полуночи. Ибо все знали: когда последний удар сердца ночи отзвучит в колодце бездны, выходит на промысел она. Полуночица. Не злой дух, не призрак, а нечто куда более древнее и неумолимое. Пустота, принявшая облик женщины. Тоска, что ищет себе пару.

Она приходила не ко всем, только к одиноким мужчинам. К тем, чьи избы пахли пеплом очага и неразделенным горем, чьи постели годами хранили холод незанятого места. Она стучалась в дверь не когтями, а сладкой тишиной – такой густой, что её слышно было сквозь сон. И если мужик, ведомый одиноким любопытством или спросонья, открывал – его ждала участь хуже смерти.

Одни сходили с ума, бормоча о «шелковых косах цвета дыма» и «бездонных глазах». Других наутро находили в своих постелях высохшими, будто вековых старцев, с седыми прядями в волосах и ледяным холодом кожи. Третьи просто исчезали, оставляя на пороге лишь лужицу ледяной воды и запах влажной земли.

И все в деревне знали – виной тому одиночество. Оно было маяком для неё, приманкой.

Степан жил один, у самой кромки болота, куда даже самые отчаянные грибники не заглядывали. Его изба, некогда шумная и полная жизни, теперь стояла, словно выпотрошенная рыба: почерневшие бревна, пустые глазницы окон, скрипучая дверь на одной петле. Пять лет назад лихорадка забрала у него жену Марью, самую весёлую и румяную девку в Береговке. С тех пор Степан стал тенью. Он молча рубил дрова, молча ловил рыбу в мутной речушке, молча пил по вечерам горькую настойку из болотных трав, пытаясь залить ею внутреннюю пустоту, что разъедала его, изнуряя.

Соседи сторонились его. Говорили, что с ним говорить – всё равно что в колодец смотреть: холодно и неоткликается. Староста не раз предлагал перебраться в деревню, к людям, но Степан лишь мрачно качал головой. Он не мог уйти оттуда, где всё напоминало о Марье. Его тоска была таким же надёжным замком, как и железная щеколда на двери.

Однажды, в особенно ненастную осеннюю ночь, когда ветер выл, как голодный волк, и швырял в стены комья мокрого снега, Степан сидел у потухающего очага. Он был уже изрядно пьян, и образ Марьи вставал перед ним особенно ясно: её смех, тёплые руки, как она напевала, мотая пряжу у огня...

И сквозь вой ветра он слышал стук.

Не громкий, не настойчивый. Словно кто-то несмело проводил пальцами по дереву. Раз. Два. Пауза. И снова.

Степан нахмурился. Никто не приходил к нему, а тем более в такую погоду. Он решил, что это ветер раскачивает старую ловушку для лисиц у стены, и хотел уже забыться сном, как стук повторился. Чётче. Определённое. Прямо в дверь.

С пьяной досадой он поднялся, шатаясь, подошёл к двери.

– Кто там? – прокричал он сиплым голосом.

В ответ – тишина. Такая оглушительная, что сразу стало ясно – ветер стих. Стук тоже прекратился. Было слышно только частое биение его собственного сердца.

– Ну?! – снова крикнул Степан, чувствуя, как по спине бегут мурашки. Пьяный туман понемногу рассеивался, уступая место тревоге.

И тогда с другой стороны двери донёсся голос. Тихий, мелодичный, женский. В нём не было ни просьбы, ни угрозы. Лишь лёгкая, почти детская обида.

– Холодно... Впусти погреться...

Сердце Степана ёкнуло. Этот голос... он был до боли знакомым. В нём были те самые нотки, что он годами пытался забыть. Это был голос Марьи.

Разум кричал, что это невозможно, что мёртвые не возвращаются, что это проделки лешего или болотной кикиморы. Но сердце, израненное тоской, рванулось навстречу. Рука сама потянулась к засову.

– Марья... это ты? – прошептал он, дрожащими пальцами откидывая щеколду.

Дверь отворилась сама, беззвучно, будто её и не было. На пороге стояла она.

Высокая, худая, закутанная в тёмный, струящийся платок, скрывавший лицо. От неё веяло холодом осенней ночи и запахом мокрой шерсти, но сквозь этот холод пробивался другой, едва уловимый аромат – полыни и той самой настойки, что пила Марья от простуд.

– Впустишь? – повторил голос, и Степану показалось, что под платком мелькнула улыбка.

Он молча отступил, пропуская её внутрь. Она скользнула в избу, не касаясь пола, и остановилось у очага, повернувшись к нему спиной. Степан, затаив дыхание, закрыл дверь. Рука его тряслась.

– Марья? – снова позвал он, подходя ближе. – Как?... Почему?..

Та медленно обернулась и Степан отшатнулся.

Это не была его Марья. Черты под платком были смутными, расплывчатыми, будто лицо из воды или дыма. Но хуже всего были глаза, их почти не было видно в глубоких глазницах. Оттуда, из темноты, на него смотрела такая бездонная, всепоглощающая тоска, что у него перехватило дыхание. Это была тоска всех одиноких ночей, всех несбывшихся надежд, всех потерянных loves, сконцентрированная в одном взгляде.

– Я пришла скрасить твоё одиночество, Степан, – прошептала она, и её голос уже не был похож на голос Марьи. Он был сладким, как забродивший мёд, и холодным, как лёд. – Ты так долго ждал. Так долго звал. Я слышала.

– Я никого не звал... – пробормотал он, чувствуя, как ноги подкашиваются от страха.

– Звал, – она сделала шаг к нему. Её движения были плавными, неестественными, словно у куклы на ниточках. – Каждой своей слезой. Каждым вздохом у пустой постели. Твоя тоска – это зов. Я всегда нахожу тех, кто зовёт громче всех.

Она протянула руку, чтобы коснуться его лица. Пальцы её были длинными, бледными, с синеватыми ногтями. Степан отпрянул, наткнувшись на стол.

– Не бойся, – её голос стал настойчивее. – Я не причиню боли. Я принесу забвение. Заберу твою тоску. Всю. До последней капли. И ты больше никогда не будешь страдать.

Она снова приблизилась, теперь он чувствовал исходящий от неё холод. Он забирал тепло из избы, пламя в очаге погасло, стало нечем дышать.

– Уходи... – хрипло выдохнул Степан, хватаясь за топор, висевший на стене. – Уходи, нечисть!

Существо рассмеялось и этот смех был похож на лёд, трескающийся под ногами.

– Слишком поздно. Ты сам впустил меня. Ты сам открыл дверь. Теперь ты мой.

Она ринулась на него, не для того, чтобы ударить или укусить. Она обвила его своими холодными, костлявыми руками, прижалась к его груди своим безликим лицом и начала впитывать.

Это не было больно. Это было хуже. Степан чувствовал, как из него вытягивают самое сокровенное. Образ Марьи в его памяти тускнел, расплывался и исчезал, будто стираемый тряпкой. Тоска, что годами глодала его сердце, уходила, оставляя после себя ледяную, абсолютную пустоту. Его воспоминания о счастье, о любви, о горе – всё высасывалось ею.

Он пытался бороться, вырываться, но его силы уходили вместе с памятью. Он забывал, кто он, где он, за что борется. В голове оставался лишь белый, холодный шум.

Вдруг существо отпрянуло от него с тихим, недовольным шипением. Степан рухнул на пол, обессиленный, почти ничего не помнящий.

– Что ты сделал? – прошипела Полуночница. Её голос потерял всю сладость, в нём звучали лишь ярость и разочарование. – Где оно? Где самое главное?

Степан, с трудом фокусируя взгляд, увидел, что она держится за грудь, будто ей что-то мешает. Её расплывчатая форма дрожала.

– Ты... ты спрятал его! – она закричала, и в её крике был визг сотни голосов. – Самую яркую часть! Самую сочную тоску! Ты отдал мне всё, но саму суть – спрятал! Где?!

Степан не понимал. Он ничего не прятал. Он уже почти всё забыл.

И тут его взгляд упал на прялку в углу. Старую, запылённую, Марьюшину прялку. Рядом с ней лежал клубок шерсти, который она так и не допрядла.

Полуночница проследила за его взглядом. Она метнулась к прялке, схватила клубок и поднесла к своему безликому лицу. Потом издала звук, полный дикой жадности и торжества.

– Вот оно! Здесь! Вся боль прощания! Вся горечь утраты! Она вплетена в каждую ниточку!

Она размотала клубок и... начала прямить его. Не в нить, а в себя. Тонкая шерстяная нить втягивалась в её темноту, словно её поглощала бездна. И с каждой поглощённой нитью существо становилось всё более чётким, более реальным. Его формы округлялись, платок сполз, и Степан увидел лицо.

Это было лицо Марьи. Точная копия. Но глаза... глаза оставались прежними – бездонными колодцами чужой тоски.

– Теперь я совершенна, – сказала она голосом его жены, и улыбка на её лице была самой что ни на есть Марьюшиной. – Теперь я буду всегда с тобой, Степан. Мы больше никогда не расстанемся.

Она снова приблизилась к нему, но теперь её прикосновение не было ледяным. Оно было тёплым. Таким тёплым и знакомым, что у него навернулись слёзы. Он поднял руку, чтобы коснуться её щеки.

– Марья... – прошептал он.

– Я, милый, я, – она наклонилась и поцеловала его. Её губы были мягкими и сладкими.

Степан закрыл глаза, поддаваясь иллюзии. Он чувствовал, как пустота внутри него заполняется. Но не светом и теплом, а чем-то другим. Чем-то тяжёлым, липким, безнадёжным. Его собственная, невысказанная тоска возвращалась к нему, но уже удесятёрённая, обогащённая горем тысяч других одиноких душ, что поглотила Полуночница.

Он не умер. Не сошёл с ума. Не исчез.

Когда через неделю соседи, обеспокоенные дымом из его трубы, решили провести его, они нашли Степана сидящим у очага. Он был чист, причёсан, на нём была свежая рубаша. Он спокойно смотрел на огонь.

– Степан? Жив? – опасно спросил староста.

Тот медленно повернул голову. Лицо его было умиротворённым, даже счастливым. Но глаза... глаза были старыми, уставшими и бесконечно грустными. Как у человека, который выплакал все слёзы разом и теперь не может вспомнить, как плакать.

– Жив, – тихо ответил он. – Всё хорошо. У меня теперь есть компания.

Он посмотрел в угол избы, где в тених казалось, сидела женская фигура с прялкой.

С тех пор Степан больше не был одинок. Он почти не выходил из избы, но оттуда часто доносился тихий, ласковый женский смех. И голос, который напевал старые песни.

Но те, кто осмеливался заглянуть к нему в окно, видели лишь самого Степана, сидящего в одиночестве. И говорившего с собой. И иногда они замечали, что его пальцы, лежащие на коленях, сами по себе перебирают невидимую шерсть, будто прядут невидимую нить.

А в деревне стали пропадать мужчины. Одинокие вдовцы, замкнутые парни, старики, доживавшие свой век в одиночестве. Они не сходили с ума и не старились. Они просто... нахо-

дили утешение. Становились спокойными, умиротворёнными, но с глазами, полными древней, чужой печали.

И по ночам, если прислушаться, из их изб доносился негромкий, монотонный гул. Словно работали десятки невидимых веретён. Прядущих бесконечную, чёрную нить одиночества.

Рубаха для Русалки

Уж если река Ниточка, петляющая у подножия Береговки, решала кого-то забрать, то делала это с отвратительным изяществом. Тела никогда не всплывали. Никогда! Их не выносило на берег через неделю, раздутых и синих. Их не находили запутавшимися в корягах ниже по течению. Ниточка забирала их себе навсегда, оставляя родным лишь пустые взгляды и память о том, как человек в последний раз шел по воду или стирать портки у мостков.

И все в деревне знали – это их рук дело. Русалок, утопленниц, духов реки, что не знают покоя и жаждут компании для своих вечных, подводных хороводов.

Молодой парубок Светозар, сын рыбака, с детства слышал эти байки. Его отец, суровый и молчаливый Горислав, каждый раз, выпуская сеть, бормотал под нос заклинания, чтобы «девки речные рыбы не спугали». А возвращаясь с уловом, первым делом выливал в Ниточку ковшик доброго пива – откуп оставить.

Но Светозар был юн и дерзок. В его жилах играла горячая кровь, а в голове роились мысли о девичьих бедрах и крепком меде, а не о стародавних страхах. Он ловил рыбу смелее отца, заходя по пояс в воду, и смеялся над стариками, которые уходили, едва слышав вечерний шелест камышей.

– Страшилки для баб да детей, – говорил он своему другу, плотнику Ратибору. – Рыба и так пуглива, а они ещё и страху на себя нагоняют. Оттого и уловы скудные.

Ратибор, человек осторожный, лишь качал головой:

– Не гневи силы, Свет. Река – она живая. У неё нрав есть. И то, что в ней живёт – тоже живо.

Но Светозар не слушал. А потом на деревню обрушился великий пост. Нельзя было ни мяса есть, ни молока пить, ни с девками ночами валяться. Для молодого, полного сил парня это было сущей мукой. Скука заедала почище любого голода.

Именно тогда, в душный, предгрозовый вечер, он и пошёл к реке. Не за рыбой, просто подышать, развеять тоску. Воздух был густым, тяжёлым, пах грозой и цветущей ивой. Ниточка текла лениво, почти неслышно, её вода казалась чёрной и неподвижной, как расплавленное стекло.

Светозар прилёг на крутом яру, под раскидистой ивой, свесив ноги над обрывом, и закрыл глаза. И сквозь полудрёму ему почудилось, что он слышит... пение.

Тихие, мелодичные звуки плыли над водой. То ли девушка пела, то ли ветер в камышах свистел, складываясь в незнакомую, щемящую сердце мелодию. Светозар привстал на локте, вслушиваясь. Пение стало явственнее, оно было неземным, чистым и бесконечно печальным. Оно говорило о тоске по чему-то безвозвратно утраченному, о любви, что жжёт изнутри, о прохладе речных глубин, где нет ни боли, ни печали.

Не раздумывая, повинувшись зову этой музыки, Светозар спустился с яра и пошёл вдоль берега, навстречу голосу. Он прошёл заросли рогоза, вышел на пологий плёс, где обычно полоскали бельё, и замер.

На большом валуне посреди реки, у самого края, сидела Она.

Её кожа была бледной, как лунный свет, и казалось, сквозь неё проступают синеватые жилки воды. Длинные, цвета речного ила, волосы покрывали её наготу, скрывая, но намекая на формы, от которых перехватывало дыхание. Лицо её было прекрасно той неестественной, острой красотой, что бывает у заточенного ножа или льдины. А глаза... Глаза были огромными, бездонными, цвета тёмной воды, и в них плескалась вся тоска мира.

Она пела, глядя на воду, и её голос был тем самым, что заманил Светозара.

Парень стоял, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. Он не чувствовал страха, лишь всепоглощающее, сладкое томление. Ему хотелось подойти ближе, коснуться её, утонуть в её глазах и в этом голосе.

Русалка (это, без сомнения, была она) закончила песню и медленно повернула к нему голову. Её губы, синеватые и полные, тронула улыбка. Она не была дружелюбной. В ней была хищная уверенность.

– Иди ко мне, – прошептала она, и её шёпот был похож на плеск воды о берег. – Иди... Вода мягка... Вода прохладна... Она смоем всю твою тоску...

Светозар сделал шаг вперёд. Ледяная вода залила его ноги, но он не чувствовал холода. Он видел только её.

– Стой!

Могучая длань схватила его за плечо и отшвырнула назад. Светозар грузно рухнул на берег, больно ударившись о камни. Перед ним выросла фигура его отца, Горислава. Лицо старого рыбака было искажено гримасой ярости и... страха. В руках он сжимал острогу, и её наконечник дрожал, направленный в сторону русалки.

– Прочь, нежить! – проревел Горислав. – Не твой он! Убирайся в свою пучину!

Русалка перестала улыбаться. Её прекрасное лицо исказилось злобой. Она издала звук, похожий на шипение разъярённой кошки, и соскользнула с камня в воду без единого всплеска.

Горислав, не говоря ни слова, схватил ошалевшего сына за шиворот и потащил прочь от реки, к деревне.

Дома он впервые в жизни ударил Светозара. Сильно, по лицу.

– Одумался, дурень? В плен к мертвецам так и рвался!

– Она... она была прекрасна... – пробормотал Светозар, всё ещё находясь под чарами.

– Прекрасна? – отец горько рассмеялся. – Это они так мают! Прикидываются кралеми, а сами – гниль да тина внутри! Она бы утащила тебя на дно, сделала бы своим рабом, своей утехой на веки вечные! Или просто выпотрошила бы для забавы!

С того вечера Светозар переменялся. Он стал молчалив, задумчив. Образ прекрасной девы с реки не выходил у него из головы. Он ловил себя на том, что всё чаще приходит на берег Ниточки и подолгу смотрит на воду, надеясь увидеть её снова. Отец следил за ним, не отпускал одного, но старик не мог быть тенью для взрослого сына.

И однажды Светозар снова услышал пение. Тише, осторожнее. Оно доносилось не с середины реки, а из-за старой, полуразрушенной мельницы, что стояла ниже по течению.

Он пошёл на голос, очарованный. Он знал, что это безумие, что отец прав, но не мог сопротивляться. Та песня была сильнее его воли.

Она ждала его в тени под мельничным колесом. Теперь она казалась ему ещё прекраснее. В её глазах читалась не злоба, а печаль и одиночество.

– Твой отец... он жесток, – прошептала она, и на её бледных щеках блеснули слезы, похожие на капельки ртути. – Он не понимает. Я не хочу тебе зла. Я просто... так одинока. Мне холодно. Мне нужна теплота живого сердца.

Светозар, забыв все предостережения, шагнул к ней.

– Что тебе нужно? – спросил он, и голос его дрожал.

– Всего лишь немного тепла, – она протянула к нему руку. Её пальцы были длинными и тонкими, с перепонками между ними. – Подари мне свою рубаху? Ту, что согрета теплом твоего тела. Она согреет меня в глубинах.

Разум кричал Светозару, что это ловушка, но сердце, пленённое её красотой и печалью, рвалось помочь. Он снял свою холщовую рубаху и протянул ей.

Русалка улыбнулась, и на этот раз улыбка показалась ему искренней. Она взяла рубаху, прижала к лицу, вдыхая запах.

– Спасибо, – прошептала она. – Теперь я буду помнить твой запах. Всегда.

И скрылась под водой, унося его одежду с собой.

Светозар вернулся домой счастливый и растерянный. Он не сказал отцу о встрече. Тот, увидев его без рубахи, лишь хмуро спросил, и Светозар соврал, что порвал о сук и выбросил.

Ночью ему не спалось. Ему снилась она. Её прикосновения. Её голос. Он ворочался на полотах, и сквозь сон ему чудилось, что по его коже кто-то проводит влажной, прохладной рукой.

А под утро он проснулся от странного ощущения. На его груди, прямо над сердцем, проступило синее пятно. Словно синяк, но не болезненный. Оно было похоже на разводы на мраморе или на причудливые очертания волны.

Отец, увидев это, побледнел как полотно.

– Это она тебя пометила, – прошептал он с ужасом. – Ты теперь её собственность. Она не оставит тебя. Она будет приходить снова и снова, пока не заберёт тебя!

Слова отца оказались пророческими. Светозар стал её рабом. Он тайком носил к реке дары: ленты, гребешок, краюху хлеба. Она являлась ему всё чаще, и её просьбы становились всё более странными. То ей нужна была прядь его волос, чтобы «сплести себе пояс от холода». То нитка с его кровью от пореза серпом. То он должен был прошептать ей своё полное имя, включая имя отца и деда – «чтобы лучше помнить».

Светозар худел, бледнел, глаза его впали и горели лихорадочным блеском. Он уже не мог рыбачить, не мог работать. Он только и ждал вечера, чтобы сбежать к реке.

Отец видел это и молча страдал. Он знал, что силой не удержать. Проклятие уже наложено.

Однажды русалка сказала Светозару:

– Мне холодно. Одной. Приди ко мне. Остайся со мной навсегда. Мы будем вместе вечно.

И Светозар, уже полностью подвластный её воле, кивнул. Он был готов.

– Завтра, – прошептала она. – Когда луна коснётся воды. Приди ко мне на наш камень.

В ту ночь Горислав не сомкнул глаз. Он видел решимость в глазах сына и понимал – это конец. Он, старый, опытный рыбак, знал, что против русалки бессилен, но он не мог просто так отдать своего мальчика.

Утром он отправился не на реку, а к старой знахарке Маланье, что жила на отшибе, у края Дедова леса. Он принёс ей целое ведро отборной рыбы и всё рассказал.

Маланья, сморщенная, как печёное яблоко, выслушала его, покачивая головой.

– Дурища твой парень, Горислав. Сам на беду напросился. Русалка – она как река. Смотришь – гладь, а под ней омут. Она его обвязала по рукам и ногам. Она уже почти забрала его душу. Осталось забрать тело.

– Помоги, – взмолился рыбак. – Выгони её! Найди заговор!

– Заговор против такой силищи не поможет, – отрезала знахарка. – Разве что... подменить.

– Подменить?

– Она ждёт живого. Тёплого. С душой и волей. А если получит неживое... пусть и похожее... её чары разобьются. Она почувствует обман и, может, отступит. На время.

Горислав не сразу понял, а потом понял – и ему стало страшно.

Он вернулся домой и весь день провёл в сарае, что-то мастера. Светозар, погружённый в свои мысли, не обращал на него внимания.

Когда луна поднялась над рекой и её свет лёг на воду серебристой дорожкой, Светозар вышел из дома и пошёл к реке. Он был бледен, но спокоен. Он шёл на встречу со своей судьбой.

Он вошёл в воду. Она была ледяной, но он не чувствовал холода. Он видел, как на том самом камне появилась она – его русалка. Она улыбалась, и в её улыбке была победа.

– Иди ко мне, мой милый, – прошептала она, протягивая руки.

Светозар сделал последний шаг, вода сомкнулась у него над головой.

Русалка соскользнула с камня и поплыла к нему, чтобы обнять и утащить в свою прохладную глубину.

Но в тот момент, когда её руки должны были обвить его шею, с берега донесся истошный, раздирающий душу крик. Это кричал Горислав, стоя по колено в воде:

– ВЕРНИСЬ! СЫН МОЙ! ВЕРНИСЬ!

Русалка на мгновение отвлеклась. И этого мгновения хватило.

То, что она обнимала, вдруг изменилось. Плоть под её пальцами стала деревянной и грубой. Прекрасное лицо Светозара расплылось, превратившись в бездушное, вырезанное топором подобие. Вместо живого, тёплого тела она держала в объятиях чучело. Болван, сбитый из поленьев и обряженный в одежду Светозара.

Маланья научила старика, как обмануть духа. Подменить живого мёртвым деревом.

Русалка взревела от ярости и обиды. Это был нечеловеческий звук, от которого вода вокруг вскипела пузырями. Она впилась когтями в чучело, разрывая его в клочья, но это было бесполезно. Её чары, рассчитанные на живую плоть и горячую кровь, не сработали. Она была обманута.

Она металась на месте, её прекрасное лицо исказила гримаса ненависти, и она исчезла под водой, унося с собой обломки деревянного болвана.

Горислав, рыдая, вытащил из воды своего настоящего сына. Он подстерёг его и подменил чучелом в последний момент. Светозар был без сознания, холодный, но живой.

Старик думал, что победил.

Он не знал одной простой вещи. Русалки не прощают обмана. Никогда.

Прошло два года. Светозар поправился. Синие пятна сошли с его кожи, чары рассеялись. Он женился на доброй девушке из деревни, и вот она уже была в положении. Жизнь входила в свою колею. Про русалку старались не вспоминать.

Горислав, состарившийся за эти годы на десять лет, однажды пошёл проверять сети. Он вышел на берег на рассвете. Туман стелился над Ниточкой, и в этом тумане он увидел её.

Она стояла по пояс в воде и держала на руках мальчика. Маленького, пухлого, с золотистыми волосиками. Младенец мирно посасывал палец и смотрел на старика большими, синими глазами.

Горислав замер. Сердце его упало.

– Смотри, старик, – прошептала русалка, и её голос был сладким, как яд. – Что оставил после себя твой мальчик в моих холодных чертогах. Он был так горяч... так полон жизни...

Она покачала ребёнка на руках. И тогда Горислав увидел – из-под одежд выглядывала не пухлая ножка, а маленький, чешуйчатый, с перепонками хвостик.

– Он не смог остаться со мной, – продолжала она, – но часть его... самая лучшая часть... осталась. Твой внук, старик. Плоть от плоти твоего сына. Хочешь поддержать?

Она сделала шаг к берегу, протягивая ему ребёнка.

Горислав отшатнулся в ужасе. Его внук... получеловек-полурыба... порождение речной твари и его же крови.

– Забери его, – улыбнулась русалка, и в её улыбке была бездна мстительного торжества. – Или я опущу его на дно. Ко мне. Выбирай.

Она разжала руки.

Ребёнок с тихим плеском упал в воду и тут же скрылся в тёмной глубине.

Горислав вскрикнул и бросился вперёд, но было поздно.

Русалка уже исчезла. А на том месте, где упал ребёнок, расходились круги.

С тех пор старый рыбак каждый вечер сидит на берегу Ниточки и смотрит на воду. Иногда ему кажется, что он видит в глубине маленькое, бледное личико с большими синими глазами, которое смотрит на него с немым укором.

А русалка больше не поёт. Но иногда, в самые тихие ночи, из реки доносится звук, похожий на тихий, детский плач.

Прохорово Лихо

В нашей Береговке, что притулилась меж холмов да извилистой реки Ниточки, страхи живут свои, устоявшиеся, почти что родные. Страх понятный: вот Русалка с мокрыми косами утащит на омутное дно, Банник в раскалённой парилке запарит до смерти, Леший в своей чащобе закружит, с пути собьёт. От такого спасешься: оберегом медным, холодным железом, крестным знаменем да и просто – бегом, что есть сил. Страх этот громкий, явный, его видишь и знаешь, как от него уклониться.

Но есть в здешних местах страх иного рода. Тихий, подлый, пробирающийся в самую душу исподволь, по капле, как сырость в подпол через трещину в фундаменте. Его не увидишь, не услышишь, а лишь ощутишь последствия. Если напала на тебя тоска зелёная, беспричинная, если удача отворачивается раз за разом, дело не клеится, из рук всё валится, в семье – разлад и пустота, это всё оно. Лихо одноглазое подкралось.

Не зверь он, не дух, не человек. Лихо – это сама суть неудачи, сама беспросветность, принявшая облик. Живёт оно в самой глухой, непролазной трущобе Дедова Леса, на краю гиблого болота, там, где даже волки стороной обходят, а солнце не пробивается сквозь спутанный полог вековых елей. Говорят, дом его – покосившаяся, завалившаяся набок избушка на курьих ножках. Но не та, что в сказках Бабы-Яги, а настоящая, от вида которой кровь стынет в жилах: срублена она из почерневших, трухлявых брёвен, поросших ядовито-зелёным мхом, а вместо сказочных куриных ног – корявые, скрюченные, будто в муке застывшие корни болотных сосен, что уходят глубоко в трясину, всасывая в себя соки тления. И стоит она не на опушке, а в самом сердце зыбучей топи, куда не ступала нога человека, а лишь тени страхов да отчаянья бредут туда, на зов своего хозяина.

Выглядит Лихо тоже неясно, расплывчато, ибо форма его – отражение внутреннего состояния того, кто на него глядит. Кто видел и сумел вернуться – либо с ума сошёл, либо помер с тоски вскорости, потому и рассказы туманны, обрывочны. То ли это высокая, худая, как жердь, баба в рваном сарафане, с одним глазом во лбу. То ли – низенький, приземистый мужик безухий и косой, с лицом, изъеденным оспой. То ли и вовсе существо несуразное, бесформенное, закутанное в рваньё, что шевелится само по себе, скрывая то, что под ним. Но все сходятся в одном: глаз у него один, большой, мутно-белый, как у мёртвой, три дня пролежавшей в воде рыбы, и смотрит он прямо в душу, насквозь, выискивая там слабинку, чёрную мысль, затаённую обиду, за которую можно зацепиться и начать тянуть, разматывая клубок человеческого счастья. А ещё у Лиха длинные, костлявые, цепкие пальцы, и вместо ногтей – ржавые, кривые когти, оставляющие на всём следы гнили.

Не нападает Лихо сразу, не душит по ночам, как Полночица. Оно – мастер тихой, подковёрной игры. Оно подкрадывается невидимкой, тенью. Сядешь ты летним вечером на завалянке, глядишь на Ниточку, на играющих ребятишек, и вдруг на сердце кошкой наступит – тоскливо, тяжело, безысходно. Исчезла радость бытия. Это оно прошло рядом, своим ледяным, безжизненным дыханием тронуло тебя. Бросит мелкий камешек в гладь твоей судьбы – и пошла рябь, расходящиеся круги несчастий.

Упадёт у тебя из руки черепок, любимая дедова чашка, что служила верой и правдой. Считай, Лихо уже переступило порог твоего дома, уже здесь. Начнёшь яростно ругаться с женой из-за ерунды. Считай, оно присело в красном углу на лавку, слушает да ухмыляется своим безгубым ртом, потирая костлявые руки. Корова молоко перестанет давать, лошадь ни с того ни с сего захромает, в амбаре мыши заведутся – всё мимо твоих заклинаний и оберегов. Это оно, Лиходей, похаживает вокруг да покручивает, шепчет исподтишка, накликавает беду, питаясь твоей растерянностью.

А уж если оно на тебя глаз положило, если ты чем-то ему приглянулся – своей слабостью, податливостью к унынию, – пиши пропало. Не отвяжешься! Оно будет следовать за тобой по пятам невидимой, но осязаемой тенью. Споткнёшься на ровном, исхоженном месте и ногу свернёшь – это Лихо подножку подставило, высунуло из-под земли свой корявый корень. В яму с чистой водой провалишься – это оно краем своего рваного, грязного рукава тропинку заметало.

Но самое страшное, самое губительное – когда Лихо «садится на шею». Бывает это с теми, кто сам себя накрутит, кто поддаётся унынию, кто начинает жалеть себя да винить во всём других, весь белый свет. Вот тогда-то оно и проявляется во всей своей «красе»! Не полностью, не сразу, нет – исподтишка, исподволь. Сначала просто тяжесть на плечах, будто мешок с горохом везёшь, невидимый. Потом – постоянный холодок за спиной, даже у печки. А дальше – начинаешь слышать ты за своим ухом тихое-тихое, навязчивое посвистывание, да хриплый, вкрадчивый шепоток, вплетающийся в твои собственные мысли: «Эх, разлюбила тебя жена, гляди, на кузнеца засматривается... не уважают тебя дети, смеются за спиной... обокрали тебя соседи, воротник у барана отрезали...».

И чем больше ты слушаешь этот шёпот, чем больше веришь ему, тем тяжелее становится невидимая ноша. И вот ты уже идёшь по деревне согбенный, еле ноги волочишь, плечи втянуты в себя. А оно, невидимое, уже оседлало тебя, вцепилось своими ржавыми когтями в плечи, дышит в затылок ледяным, мертвящим дыханием. Человек чахнет на глазах, его съедает изнутри чужая, нащёпанная злоба и тоска. Он сам становится источником несчастий, черной дырой, в которую затягивает всех вокруг. От него уходят люди, гибнет дело, рушится дом, скот дохнет. Это Лихо кормится его жизненными силами, его счастьем, его светлыми воспоминаниями, высасывая всё это, как паук высасывает жертву.

Выгнать его невероятно трудно. Оно цепкое, как репей, и живучее, как таракан. От него не спасёшься бегством – оно везде поедет с тобой, как твоя собственная тень. Заговорами, молитвой его не всегда возьмёшь – оно не совсем нечисть, а скорее, часть мира, его теневая, отрицательная сторона, порождение вселенской печали. Остаётся одно – пересилить себя. Найти в себе пушинку света, силы не слушать шёпот, не верить в худое, делать дело, даже если всё валится из рук. Заставить себя через силу улыбнуться ребёнку, спеть заунывную песню, помочь соседу вскопать огород – вопреки всему, назло внутренней тьме. Лихо питается тёмным, а от искреннего света, от простого человеческого тепла оно чахнет, съёживается и на время отступает.

Но есть в Береговке одна история, старая, как сам Дедов Лес, и жуткая до мурашек. История о том, как один человек не выгнал Лихо, не переборол, а... попытался приручить его. Вернее, заключить сделку. Использовать его тёмную силу в своих целях.

Жил давно в деревне мужик по имени Прохор. Не глупый, а хитрый, с извилинами, но кривыми. Жадный до чужого добра, с дурным, завистливым глазом. Завистливый страшно! Соседу его, доброму и работающему Фёдору, корова отелилась – а Прохора злоба душит, будто он сам себе что-то отрезал. У того же Фёдора изба новая, с резными наличниками – Прохор спать не может, ворочается, скрипит зубами. И чем лучше жил сосед, тем чернее становилась душа у Прохора. И вот, одолела его чёрная, слепая зависть, затмила разум. Решил он пойти на отчаянный шаг: найти в Дедовом Лесу логово Лиха и навести его на своего заклятого счастливого.

Шёл он долго, шёл наобум, не зная тропы, руководствуясь лишь одним – злобой в собственном сердце. И вывела его слепая ненависть напрямик на ту самую гнилую, покосившуюся избушку, тонущую в зыбучей трясине. Вокруг не пела птица, не стрекотал кузнечик – была лишь гнетущая, мёртвая тишина. Но не испугался Прохор, а обрадовался, почувствовал злорадное предвкушение. И словно в ответ на его мысли, скрипнула дверь, и вышел на скривый

порог сам Хозяин – высокий, серый, бесформенный, с одним мутным, как утонувший месяц, глазом посреди лба.

– Чего надо? – проскрипело Лихо, и от его голоса, холодного и влажного, как болотная жижа, завяли и почернели листья на ближайших деревьях.

– Пришёл нанять тебя, – выпалил Прохор, стараясь казаться уверенным. – Есть у меня сосед, Фёдор. Слишком уж он бел, слишком счастлив. Жизнь его сладко, а мне, как желчи, горько. Сделай так, чтобы ему не жилось. Чтобы удача от него отвернулась.

Лихо склонило набок свою страшную, неясных очертаний голову и тихо захихикало, словно сухие сучья по стеклу.

– Хоро-ошо, – прошипело оно. – Но плата вперёд. Всё у меня по правилам.

– Какая плата? – насторожился Прохор, но боевой настрой не исчез.

– Первая удача, которая тебя сегодня ждёт. Большая или малая – моя будет.

Прохор махнул рукой. Какая там, к лешему, удача? Вечно он невезучий. Согласился, поспешил заключить сделку.

Вернулся он в деревню, а его дома ждёт неожиданная весть: лошадь, которую он уже списал со счетов, считал пропавшей, вернулась из леса, да ещё и с крепким, резвым жеребёнком. Первая мысль – радость, надежда. Но только он мысленно прикинул, сколько выручит за приплод, сердце у него сжалось от острой, леденящей боли, а на душе стало пусто, холодно и гадко, будто выпил он прокисшего молока. Это Лихо забрало его удачу, высосало саму радость от неё. И словно в подтверждение, тем же вечером захромала сначала кобыла, а к утру оба животных уже лежали бездыханные, с почерневшими мордами, без видимых причин.

А у соседа Фёдора в тот же день случилась первая напасть: телега перевернулась на кочке, мужик ногу сломал. Узнал Прохор – и вместо ужаса почувствовал странное, сладкое удовлетворение. И захотел он большего, чтобы у Фёдора вообще всё прахом пошло, чтобы сравнялись их жизненные счёты.

Пошёл он снова к Лиху, уже увереннее. Тот, словно ждал, снова вышел навстречу и согласился.

– Плата – твоя память о первом поцелуе. О том, каково это.

Прохор, уже опьянённый своей мнимой властью, снова легко согласился. Какие там, в его-то годы, поцелуи? Глупости. И он лишился чего-то дорогого, светлого, сам того не заметив сразу – лишь потускнел в памяти один из самых тёплых образов юности. А у Фёдора в ту ночь амбар с запасённым на зиму сеном дотла сгорел.

Так и пошло, закрутилась чёрная карусель. Прохор приходил к Лиху снова и снова, заказывая соседу всё новые напасти: то падёж птицы, то порчу в огороде, то ссору с роднёй. Он платил запахом свежего, только что испечённого женою хлеба, платил радостью от первого шага своего маленького сына, платил теплом и уютом от взгляда любимой жены. Он не замечал, как сам становится пустее, черствее, холоднее внутри, как блёкнут краски мира, как еда становится безвкусной, а солнечный день – серым. Прохор уже не радовался несчастьям Фёдора, он уже не чувствовал ничего, кроме жгучей потребности продолжать, он просто не мог остановиться, попав в зависимость от самого процесса разрушения.

В конце концов, от преуспевающего хозяйства Фёдора ничего не осталось. Семья разорилась окончательно, жена, не выдержав нищеты и постоянных неурядиц, ушла, сам он запил горькую и пропал где-то на обочине жизни. Миссия Прохора была завершена. И он, пустой и выцветший, пришёл к Лиху в последний раз. Он был как скорлупка, из которой выпили всё содержимое. Внутри него не осталось ничего светлого, тёплого, человеческого, чем можно было бы заплатить.

– Я... я всё отдал, – просипел он, не глядя в тот единственный мутный глаз. – Больше нечего. Кончай дело.

Лихо, неподвижное, как болотная коряга, смотрело на него, и в его взгляде читалось что-то новое – холодное любопытство.

– Есть ещё кое-что. Последнее. Твоя тень. Твоё право отбрасывать её под солнцем.

Прохор, уже почти не понимая, не чувствуя смысла слов, машинально, опустошённо кивнул. Лишь бы всё закончилось.

Он вернулся в деревню. День был ясный, солнце светило ярко, высоко стояло в небе, но от Прохора не падало на пыльную землю никакой тени. Он стал пустым, безликим, бесформенным местом в пространстве. Люди, даже не понимая почему, инстинктивно обходили его стороной, испытывая необъяснимый холод и тревогу. С ним перестали разговаривать, замечать его. Жена и сын, давно уже дичавшие от его ледяного безразличия и странностей, в ужасе собрали узелки и уехали от него, не в силах больше выносить его безжизненного, жуткого присутствия.

И тогда Лихо пришло к нему само. Не в лесной избушке, а в его же опустевшем, холодном доме. Оно пришло и больше не уходило. Оно стало его тенью. Его вечным, неотъемлемым спутником. Его платой.

Теперь Прохор-Без-Тени ходит по Береговке и её окрестностям. Тихий, седой, сторбленный, с пустыми глазами. Где он пройдёт – там молоко в крынках скисает, там у детей без причины поднимается температура, там между супругами на ровном месте вспыхивает ссора. Он уже не человек, а сосуд, ходячая оболочка, в которой живёт и правит Лихо. Его вечный, бесправный раб, напоминание о страшной цене зависти и уныния.

И старики у нас говорят, глядя вслед его скорбной фигуре: если тебя постигла череда неудач, и на душе скребут кошки, и кажется, что свет не мил, – выйди на улицу в ясный солнечный день и посмотри на свою тень. Увидь её. Победи в себе тихий шёпот отчаяния. Гони его прочь! Борись, не сдавайся, не слушай шептало в душе. Беги к людям, к свету, к работе, заставляй себя делать добро даже через силу! Иначе, оступившись, можешь и не заметить, как сам, в своём сердце, предложишь Лиху сделку. И заплатишь ему тем, о чём даже не подозреваешь, пока не потеряешь навсегда. А оно уж найдет, что забрать. Всегда найдет.

Алконост из Дедова Леса

В нашей Береговке, что притулилась у хмурого Дедова Леса, испокон веков знают одну нехитрую истину: не всякая птица от Бога создана. Есть те, что с небес, пташки божьи, что весну кличат, урожай сулят. А есть иные – те, что из сказок старых, из кошмаров, из тех незапамятных времён, когда мир был моложе, острее и несравненно страннее. Мир был полон сущностей, что не вписывались ни в божий промысел, ни в дьявольские козни, а жили сами по себе, по своим древним, непостижимым законам. И самая странная, самая прекрасная и самая губительная из них – птица Алконост.

Вид у неё, рассказывают старожилы, дивный, не от мира сего. Оперение – то ли синее, как предгрозовое небо, то ли зелёное, как хвоя в глухую осень, и всё оно отликает золотом и медью, будто в её перьях застряли и переливаются последние лучи уходящего солнца. А вместо птичьей головы, покрытой чешуйками, – лик девичий, прекрасный до слёз и до жути печальный одновременно. Лик не стареющий, не знающий улыбки. И глаза у неё большие, бездонные, глубокие, как два самых тёмных лесных озера, в которых запросто утонуть можно, забыв про берег.

Но главное – её голос. Она не поёт, как иволга или соловей, не щебечет, не выводит трели. Она изливает душу. Звук её голоса – такой сладкий, пронзительный и до самого нутра наполненный щемящей тоской, что сердце замирает, а разум затягивает лёгким, серебристым туманом. Услышишь – и забудешь в один миг, кто ты, откуда, зачем пришёл в этот лес. Из головы выветрятся все заботы, все мысли о доме, о семье, о хлебе, что в печи остался. Останется только этот голос, этот зов, манящий вглубь чащи, в самую её непролазную, тёмную сердцевину. Он обещает что-то главное, что-то такое, ради чего стоит бросить всё.

И вот тут-то и таится её главная, страшная хитрость. Старинные сказы, дошедшие до нас через десятки поколений, гласят, что песня Алконоста предвещает райское блаженство, показывает путь в светлые миры. Так, да не так. Она не предвещает его, она его обещает. Она рисует в воображении слушателя, в самых потаённых уголках его души, такой яркий, такой желанный и манящий, такой реальный мир, что серая, простая реальность вокруг мгновенно меркнет, тускнеет и становится ненужной. Человек, словно загипнотизированный, бросает всё – ружьё, добычу, сумку – и идёт на этот голос, как лунатик, не видя и не слыша ничего вокруг. Идёт, спотыкаясь о корни, раздирая в кровь лицо и руки о колючие ветки, не чувствуя ни голода, ни усталости, ни страха. Он идёт к своей гибели, уверенный, что идёт к вечному блаженству.

Ибо песня Алконоста – это самая изощрённая ловушка, какую только можно придумать. Она ведёт не к свету и теплу, а в самую глухую, заброшенную трущобу, на болотистую, обманчивую прогалину, где земля трясётся под ногами, как холодец, а воздух густ и сладок от удушливого запаха гнилых цветов и стоячей, мёртвой воды. Там, окончательно обессилив, сражённый не физической, а душевной усталостью, человек падает и засыпает сном, полным тех самых призрачных видений.

А когда просыпается спящий, и просыпается он всегда один-одинёшенек – он уже не тот человек, что был прежде. Возвращается в деревню бледный, молчаливый, отрешённый. Он узнаёт родных, помнит своё имя, может механически колоть дрова или доить корову, но души в нём больше нет. словно пустая, красивая скорлупа. И в его глазах – та самая вечная, неизбывная печаль, что и в глазах самой птицы. Он тихо, изнутри сгорает от тоски по тому раю, который ему навеяли, которого наяву не бывало и быть не может. Он становится тихим, покорным и абсолютно безучастным ко всему живому, к радостям и горестям окружающих. Местные у нас зовут таких «обеспамятанными» или «вышедшими из чащи». Живут они недолго. Сгорают быстро, словно свеча, от тоски по призраку, по наваждению.

Был у нас в деревне парень по имени Игнат. Смелый, отчаянный, с огоньком в глазах, лучший охотник и следопыт в округе! Медведей один с рогатиной брал. Над всеми нашими «бабьими сказками» только посмеивался.

– Алконост! – говаривал он, оттачивая нож о ремень. – Это вы, старики, от дешёвой браги голоса в лесу слышите, вам и чудится. А я бы послушал эту дивную певицу. Может, и правда, такое услышишь, чего наяву не бывает. Красоту неземную.

Как-то поздней осенью пошёл он в самую глубь Дедова Леса, на медвежью берлогу. Долго его не было, уже на пятые сутки мужики сговариваться стали, чтобы идти поиски затевать. А он на шестой день на околице появился. Шёл медленно, неуверенно, шатаясь, как слепой, взгляд его был устремлён куда-то внутрь себя, в какую-то бесконечную даль. Лицо – странно спокойное и отрешённое, будто вырезанное из светлого воска. Сумку дорогую потерял, ружьё новёхонькое где-то бросил, одежда вся в клочьях и в грязи, но он словно этого не замечал вовсе.

– Игнат! Жив! Господи, слава тебе! – обрадовались мужики, выбежавшие ему навстречу.

Он остановился и медленно, с трудом переводя фокус, посмотрел на них. И в его глазах, всегда таких живых и насмешливых, мы увидели такую бездну тихой, светлой, всепоглощающей печали, что даже у бывалых охотников по спине мурашки побежали и стало жутко.

– Я слышал, – прошептал он так тихо, что едва расслышали, и голос его был похож на шелест сухих листьев. – Я слышал, как трава на том свете растёт. Шёлковым ковром стелется. И как солнце на заре поёт хоралом, а звёзды ему подпевают. Там... там так красиво. Так светло.

Игнат перестал охотиться. Сложил свои рогаины и капканы на чердак. Он мог часами, не шелохнувшись, сидеть на завалинке и смотреть в сторону леса, на ту самую чашу, что его погубила. Он не плакал, не грустил в привычном понимании, не рвал на себе волосы. Он просто тихо угасал, словно свеча на сквозняке, сгорая изнутри от тоски по тому, чего не существовало. Старики качали головами, говорили: «Душу ему птица выпила, одну оболочку оставила». Через полгода его не стало. Умер во сне, тихо и незаметно, и на его лице застыла лёгкая, почти счастливая улыбка, как у человека, увидевшего долгожданный сон.

С тех пор в Береговке к Дедову Лесу относятся с двойным, нет, с тройным трепетом. Не только из-за волков лютых да медведей шатунов, а из-за той самой, невидимой, птицы с девичьим ликом. Старики-знахари говорят, что по-настоящему услышать её и поддаться её зову могут только те, у кого в душе изначально зияет пустота, кто томится и тоскует по чему-то нездешнему, большему, чем эта простая жизнь, кто слишком многого ждёт от мира и потому легко верит в обещания. Она является тем, кто ищет чуда и не видит чуда в повседневности.

А потому запомните, и передайте своим детям, и внукам завешайте: если в тихую летнюю ночь, когда воздух тёплый и густой, как мёд, а луна висит над лесом огромным бледным диском, вы услышите в глубине чащи нечто, похожее на тихий, сладостно-горький, раздражающий душу плач, от которого сжимается сердце и на глаза наворачиваются слёзы – не слушайте! Зажмите уши руками, развернитесь и бегите прочь! Бегите без оглядки к дому, к теплу печи, к простым и грубым голосам детей, к запаху хлеба. Цепляйтесь за эту реальность, какой бы простой и неидеальной она ни была. Цепляйтесь за каждую её мелочь.

Это она – птица Алконост. Птица, что поёт о потерянном рае, которого никогда не было. И её сладкое, душераздирающее обещание – в тысячу раз страшнее любой явной угрозы. Ибо она не отнимает жизнь силой. Она заставляет добровольно, с лёгким сердцем и с улыбкой на устах отречься от всего мира, от всех живых, ради прекрасной, сладкой, вечной и смертельной иллюзии.

Волколак

В деревне Береговке, что притулилась на краю Дедова леса, боялись не волков. Волков можно было отогнать огнем, кольями, дружной ватагой. В Береговке боялись Волколаков. Тихих, которые ходят на двух ногах днем, а ночью сбрасывают человеческую кожу и уходят в лес на четырех. Говорили, что свой род они ведут от древнего духа-оборотня, что сразился с самим Велесом и был проклят на вечные скитания меж миром людей и миром зверей.

Но это были сказки для непослушных детей. Пока не начали пропадать люди.

Первым пропал пастух Мирон. С ним стадо, две собаки и, по слухам, соседская жена. Нашли через три дня. Вернее, нашли то, что от него осталось. И от овец. И от собак. Жену не нашли вовсе. Тела были изодраны так, будто над ними потрудились вся волчья стая разом. Но странность была в том, что следы вокруг вели не к лесу, а от леса. И были они не волчьими, а... искаженными, двуногими, с неестественно длинным шагом.

Вторым пропал здешний охотник, Семен. Сильный, злой мужик, знавший лес как свои пять пальцев. Он ушел на промысел и не вернулся. Нашли его лук, сломанный пополам. самого Семена не нашли, но в ту же ночь кто-то вырезал всё его стадо, и не просто вырезал – устроил бойню. Кровь брызгала до самой крыши хлева.

В деревне запаниковали. Староста собрал сходку. Мужики хмурили брови, бабы плакали. Винили лесного духа, злого березича, даже самого Велеса винить пытались. И только старый, полуслепой кузнец Игнат, сидевший на завалинке, мрачно произнес, глядя в пустоту:

– Это не дух. Это плоть. Это Волколак. И он среди нас.

Его осадили, речь его называли бредом старика, но семя страха было посеяно. А потом пришла очередь Лады.

Она была молодой женой того самого пропавшего Семена. Красивая, тихая, с глазами, полными неизбывной тоски. Муж её был суров и ревнив, часто поднимал на неё руку. После его исчезновения по деревне поползли тёмные сплетни. Мол, и пастух Мирон к ней заглядывал, и не просто так он пропал в ту ночь. Говорили, в ней есть что-то колдовское, от матери-знахарки, что давно в лесу заблудилась.

Лада теперь жила одна в избушке, что досталась ей от мужа. И вот одной лунной ночью, когда ветер выл, предвещая новую беду, к её дому подкрались. Не волки. Мужики из деревни. Во главе с братом пропавшего пастуха, Гришкой, здоровенным детиной с пьяными, злыми глазами.

– Выходи, волчья жена! – заорал Гришка, ломая дверь плечом. – Выходи! Это ты наслала порчу на брата! Это ты зверя на деревню навела!

Они вломились внутрь. Лада, бледная, в одной рубахе, пыталась защититься, кричала, что не виновата. Но пьяная злоба глуха. Её избили, связали и, обвинив в колдовстве и сношениях с нечистой силой, поволокли к старой, заброшенной бане. Решили устроить над ней суд. Быстрый и жестокий.

Баня была низкой, тёмной, пахла плесенью и страхом. Ладу бросили на грязный пол. Гришка зажёл лучину.

– Признавайся, ведьма! Где твой муж? Где брат мой? Какого зверя ты к нам привела?

Лада, вся в синяках, с окровавленной губой, лишь мотала головой, рыдая от беспомощности и ужаса. А вокруг неё смыкалось кольцо озверевших лиц. В их глазах читалась не праведная ярость, а животная жажда расправы. Им нужен был виноватый.

И тут снаружи раздался вой.

Это был не волчий вой. Это был звук, от которого кровь стыла в жилах. Долгий, пронзительный, полный такой первобытной ненависти и боли, что даже пьяные мужики остолбенели. Он шёл не из леса. Он шёл со стороны деревни.

Дверь в баню с грохотом сорвалась с петель и рухнула внутрь. В проёме, заливаемом лунным светом, стояла Фигура. Высокая, могучая, покрытая густой, свалившейся шерстью цвета пожухлой осенней листвы. Она стояла на двух ногах, но голова была волчьей, с длинной, вытянутой пастью, из которой капала слюна. Глаза горели жёлтым, нечеловеческим огнём. И в этих глазах была не просто звериная ярость. В них была бездна разума, страдания и мести.

Волколак.

Он медленно вошёл внутрь. Мужики, мгновенно протрезвев от ужаса, закричали. Кто-то попытался схватиться за топор, но лапа с длинными, острыми, как сталь, когтями ударила его в грудь. Кости хрустнули, как сухие прутья. Другого он поднял за шиворот и швырнул о стену с такой силой, что та задрожала.

Началась бойня. Быстрая, жестокая, без шансов на спасение. Волколак двигался с неестественной, пугающей скоростью, оборачиваясь смерчем когтей и клыков. Крики людей смешивались с рыком зверя и звуками рвущейся плоти. Запах крови и внутренностей заполнил тесное помещение.

Лада, прижавшись к стене, с ужасом наблюдала за этим адом. Она ждала своей очереди. Вот он расправится с ними и доберётся до неё. Но странное дело – зверь словно не замечал её. Он методично уничтожал мужиков, но ни разу даже не взглянул в её сторону.

Когда последний крик затих, в бане воцарилась тишина, нарушаемая лишь тяжёлым дыханием существа и тихим стоном раненого Гришки, который пытался отползти к выходу.

Волколак наклонился над ним. Гришка, истекая кровью, смотрел на него с немым ужасом. И в этот момент существо заговорило. Голос был низким, хриплым, похожим на скрежет камней, но в нём угадывались черты человеческой речи.

– Ты... ударил... её... – просипело оно, тыча когтем в сторону Лады.

Гришка что-то пробормотал, моля о пощаде, но Волколак не стал его слушать. Он наклонился, и раздался страшный, влажный хруст.

Потом он выпрямился и повернулся к Ладе.

Она зажмурилась, ожидая смерти. Но вместо когтей она почувствовала на своём лице... прикосновение. Грубое, шершавое, но удивительно нежное. Она открыла глаза. Морда чудовища была в сантиметре от неё. В его жёлтых глазах не было злобы. Там была тоска. Бесконечная, всепоглощающая тоска. И... узнавание.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.